

Заметки на полях феминистской критики русской литературы

Елена Барабан

Невозможно найти другую страну, где столько писателей восхищались и воспевали женщин за сильный характер и необыкновенные способности.

Каролина де Магд-Сеп¹

Феминизм и русская литература

В последние пятнадцать лет феминистская критика, выступающая под знаком социального прогресса и модернизации, стала популярной в отечественном литературоведении. Расширение методологии и теоретических посылок филологических исследований за счет феминизма сопровождается дискуссией о корректности переноса западных понятий на российскую почву². Само наличие такой дискуссии свидетельствует о том, что запоздалый приход феминистской теории и практики в Россию³ является, по сути, преимуществом, поскольку нео-русский феминизм может учесть ошибки западного и наметить тот путь, который будет наиболее адекватен в отечественных условиях. Оговорюсь сразу, я не считаю ни марксизм, ни феминизм, ни другие социальные теории, послужившие базой для изучения литературы, не важными для развития филологии. Напротив, обсуждение творчества Бальзака, Диккенса, Достоевского, Гоголя и других писателей было бы неполным без использования понятий «класс» и «социальная структура», а обсуждение «Анны Карениной», «Крейцеровой сонаты», «Евгения Онегина», цветаевской поэзии и прозы немыслимо без рассмотрения женских образов, женской точки зрения и роли женщин в художественной ткани этих произведений. Тем не менее, не является секретом, что марксистское прочтение литературы в Советском Союзе обрастало догматическими утверждениями. То же самое зачастую происходит и в феминистской литературной критике на Западе, где критика базовых положений феминизма – явление редкое. Именно поэтому вопрос о том, что собой представляет феминистская критика, каковы ее истоки, методология, ее цели и задачи по отношению к русской литературе, является важным.

Оценка теоретического потенциала феминистского подхода к изучению русской литературы представляется актуальной еще и в силу особой роли лите-

ратуры в России. Как известно, в последние двести лет русская литература, соединив в себе функции просветительства, философии и социологии, была консолидирующей силой российского общества. Ее значение в немалой степени поддерживалось системой образования в России, предусматривающей обязательное и довольно глубокое по сравнению с другими странами изучение литературных произведений. Таким образом, интерпретация литературы потенциально является важным фактором в изменении общественного мнения (а именно это входит в программу феминизма). В то же время, как показали несколько десятилетий канонического марксистского подхода в советском литературоведении, сами литературные произведения могут цениться читателями вопреки тому, что предлагается зажатой в идеологические тиски критикой. Каким будет современное литературоведение в России, в немалой степени зависит от критичности филолога к избираемым им подходам.

Сложность критики феминистского литературоведения заключается в том, что в настоящее время уже невозможно говорить о феминизме в каком-то одном смысле⁴. Феминизм, и как теория, и как практика, представляет собой множество разнообразных и зачастую противоречащих друг другу подходов, что выражается, например, в том, что европейский феминизм заметно отличается от североамериканского, а активисты феминистского движения, как в Америке, так и в Европе, зачастую не находят общий язык с теоретиками феминизма. Кроме того, сама теория феминизма – явление весьма разнородное, опирающееся на методологию психоанализа, постструктурализма, марксизма, конструктивизма и других направлений человековедения. Тем не менее, как справедливо отмечается в недавно вышедшем в Москве сборнике «Пол, гендер, культура» (1999), «точкой соприкосновения всех феминистских исследований является стремление проанализировать место женщины, отведенное ей патриархальными структурами⁵, и способствовать устранению или, по меньшей мере, изменению этих структур» (Шорэ, Хайдер, 15). В более развернутом виде определение феминистской критики приводится в сборнике «По-другому: феминистская литературная критика» под редакцией известных американских феминисток Гейл Грин и Коппелии Кан (Greene, Kahn, 1985). В частности, в статье «Виды феминистской критики» Сидней Джейн Каплан отмечает, что феминистская критика – это, во-первых, интерпретация читательницами женской литературной традиции («несправедливо забытой» в патриархальном обществе), и, во-вторых, это опровержение традиционной литературной критики, претендующей на объективность (речь идет прежде всего о так называемой «новой критике», которая по сути близка русскому формализму в своем стремлении изучать литературные произведения «изнутри», исходя из их художественной формы) (Kaplan, 37-58). Задачи эти взаимосвязаны, поскольку, как пишет Нелли Фурман, «изучение статуса женщины в литературе и женской литературной традиции» как раз и ведет к разоблачению «мнимой объективности» традиционного литературоведения, и «вскрытию» того факта, что «ли-

тературные жанры, сюжеты и характеры зачастую определялись с точки зрения мужчин» (Furman, 63). В свою очередь, такое разоблачение необходимо для изменения положения женщины в обществе, для ее «освобождения», как полагают более радикальные феминистки, воспитанные на марксистской теории классово-вой борьбы. В частности, Катарина МакКиннон пишет:

«Марксистский анализ и методы могут играть непреходящую роль для радикальной деконструкции понятия пола, необходимой для изменения положения женщин, поскольку, если женщина определяется как сексуальное существо, живущее для других, тогда ее можно освободить только с помощью переопределения самих норм половой идентичности, и этот процесс потребует радикальных перемен в обществе, где такие нормы возникли» (MacKinnon, 1982: 533-534).

Было бы несправедливо представить феминизм исключительно в его радикальной марксистской – маккинновской – модификации, не упомянув, что существует множество менее политизированных феминистских теоретических работ, опирающихся не на методологию марксизма, но на теоретические принципы деконструктивизма и постструктурализма (соответственно, на работы французских философов Жака Дерриды и Мишеля Фуко). Нельзя не отметить, однако, что де-политизированный феминизм (всегда только отчасти, поскольку иначе от теряет смысл как движение), представленный, например, работами американского философа феминизма Джудит Батлер⁶, во многом остается на уровне теоретических разработок, в то время как многие современные литературоведческие работы опираются на радикальную феминистскую теорию и таким образом определяют лицо феминистского литературоведения. Так, работы западных литературоведов, обзор которых приводится ниже, написаны в 1980-1990-е годы, но опираются на теоретические положения, типичные для феминистских работ 1960-х годов.

В данной статье речь идет о проблемах, которые существуют в феминистском прочтении русской классики 19-го века. Я намечу некоторые аспекты произведений, которые важны именно в российском, а не в абстрактно понятом глобальном контексте. Моя исходная посылка состоит в том, что значение пола варьируется в различных социо-культурных контекстах, что женщины не представляют собой однородную группу с одинаковыми проблемами и что персонажи русской литературы вынуждены решать проблемы, весьма отличные от тех, которые релевантны в западной литературе, но еще больше в западном феминистском движении. По сути, речь идет о взаимоотношении критики и литературы, о «сопротивлении материала» применяемым к нему концепциям. В то время как критика предоставляет концептуальный аппарат для обсуждения литературы, литература, в свою очередь, развивает теорию, указывая на теоретически не проработанные положения.

Феминистская критика русской литературы

Прочтение русской классики с позиций феминизма появилось на Западе в 1970-е годы. Одним из самых влиятельных трудов в этой области считается книга Барбары Хельдт «Ужасное совершенство» (1987)⁷. Хельдт подчеркивает тот факт, что русская литература – «исключительно мужская традиция» (Heldt, 1) и что поэтому героини в произведениях русских писателей «служат цели, которая в конечном итоге не имеет ничего общего с женщинами: эти героини повсеместно используются в дискурсе мужского самоопределения» (Heldt, 2). Более того, по мнению Хельдт, русская литературная критика, которая также представлена «только мужчинами», занималась в основном интерпретацией мужских персонажей, в то время как женские персонажи не получали достаточного освещения (Heldt, 2). Обращая внимание на замалчивание женской проблематики в литературной критике 19-го века, Хельдт, в свою очередь, замалчивает тот факт, что именно мужчины (писатели, критики, ученые и деятели культуры) принимали самое активное участие в движении за эмансипацию женщин в 19-м веке⁸. Более того, начиная с 1840-х годов, крупнейшие произведения русских писателей, кроме всего прочего, были также ответом на так называемый «женский вопрос» в России (например, «Крейцера соната», «Воскресение» Толстого, «Идиот» Достоевского).

Обращает на себя внимание тот факт, что цели феминистских работ по литературе валоризованы изначально, что предопределяет их. Цель книги Хельдт, например, – показать «женскую пассивность», присущую русской культуре (Heldt, 8). Монография Джо Эндрю «Женщины в русской литературе, 1780-1863 гг.» (1988) посвящена разоблачению «субпорнографического» взгляда мужчины-рассказчика в русских романах (Andrew, 45). В сборнике «Пол и русская литература» (1996) Розалинд Марш ставит своей целью обличить «глубокое женоненавистничество русской и советской культуры» (Marsh, 23). Поставив такие цели, западные исследовательницы приходят к предсказуемым выводам. Хельдт делает вывод о том, что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и Некрасов – практически все крупнейшие русские писатели, за исключением Льва Толстого, – были женоненавистниками, «идеализировавшими покорность и подчинение женщин, которое было на руку мужчинам» (Heldt, 34). Джо Эндрю утверждает, что у Гоголя и Лермонтова «глубоко негативное» отношение к женщине (Andrew, 1988: 74, 93), что пушкинская Татьяна – «ребенок», «деревенская простушка», чей образ напоминает женские характеры эпохи сентиментализма (50-52), а тургеневские героини остаются «на уровне проекции мужской фантазии, чистым экраном, на который можно спроецировать все, что угодно» (122). Поскольку Елена Стахова, героиня романа Тургенева «Накануне», никак не укладывается в схему избранного подхода, Эндрю делает вывод о том, что Елена Стахова – исключение, подтверждающее общее правило, и что в патриархаль-

ной России не может быть других характеров такого толка (Andrew, 1988: 152). По мнению Эндрю, в русской литературе единственный женский персонаж, который изображается как «личность» – это Вера Павловна из романа Чернышевского «Что делать?» (Andrew, 1988: 165). Данное заключение подчёркивает идею о том, что не-феминистки «личностями» быть не могут.

Еще один известный в Северной Америке славист, Нина Пеликан Страус, автор монографии «Достоевский и женский вопрос» (1994), пишет, что в конце двадцатого века женщина, читающая Достоевского, может совершенно оправданно «поддержать вывод Барбары Хельдт о том, что Достоевский является выразителем шовинистических идей и стереотипизирования женщин» (Straus, 2). Страус утверждает, что «отрицательная реакция Достоевского на роман Чернышевского «Что делать?» и его поддержка позиции славянофилов, русского империализма и царя указывает на антифеминистские настроения писателя» (Straus, 2). Непонятно, почему сторонник империализма и самодержавия непременно должен быть и антифеминистом, и на чем основаны обвинения Достоевского в женоненавистничестве и стереотипизации женщин. По свидетельству своей дочери, например, Достоевский часто выражал веру в русских женщин, полагая, что женщины славянки отличаются более сильным характером, чем славянские мужчины, что они более трудолюбивы и выносливы. Он надеялся, что «настанет время, когда женщины будут полностью свободны и будут играть значительную роль в жизни общества» (Сараскина, 351).

По мнению Розалинд Марш, русские женщины изображались либо как ангелы (Фенечка в «Отцах и детях», Долли и Китти в «Анне Карениной», Соня в «Преступлении и наказании»), либо как дьяволы (тургеневские Ася и Зинаида, Настасья Филипповна в «Идиоте» и другие героини Достоевского). В отличие от упомянутых выше литературоведов, Марш не настаивает на женоненавистничестве русских писателей, но подвергает переоценке критику, которая превозносит русских писателей за создание положительных женских образов. Она ставит под сомнение понятие о «сильном женском характере», литературном мотиве и национальном стереотипе в России:

«В силу распространенности в русской литературе мотива «сильной женщины», многие русские критики настаивают на том, что русская новеллистическая традиция ни в коем случае не принижает женщину, но, напротив, возводит ее на пьедестал. Однако, ... такую идеализацию можно интерпретировать просто как форму сексизма, поскольку от литературных героинь ожидается соответствие тому, что Барбара Хельдт назвала «ужасным совершенством» (Marsh, 12-13).

Получается, что, с одной стороны, феминистки сетуют на покорность и пассивность русских героинь, а с другой – полагают, что концепция «сильного женского характера» нерелевантна для изучения русской литературы. Подобное

сочетание критических оценок наводит на мысль о том, что в рамках феминистской концепции личности приветствуется какой-то определенный вид женской активности, не совпадающий с силой духа женских персонажей русской литературы. Сила духа русских героинь представляется западным феминистским литературоведением скорее как недостаток («ужасное совершенство»), от которого следует избавляться, а не как достоинство.

Политическая подоплека феминистской позиции ясна: писатели-мужчины обвиняются в реакционизме, независимо от того, критикуют ли они женщин или идеализируют их. Идеализация женщин русскими писателями интерпретируется как сексизм. Если же речь идет о безобразных жестоких и властных женщинах (например, таких как жена Петровича из гоголевской «Шинели» или Варвара Петровна Ставрогина из «Бесов» Достоевского), феминистская критика обвиняет русских писателей в женоненавистничестве.

Предсказуемость результатов феминистского анализа и сходство феминистских трактовок русской литературы свидетельствует о методологических проблемах внутри феминистской теории. Не составит большого труда опровергнуть выводы феминисток с помощью более подробного текстуального, биографического и исторического анализа материала. Так, например, преподнесение Некрасова в качестве женоненавистника в работе Хельдт контрастирует с репутацией поэта, которого всегда хвалили за воспевание силы и духовной красоты русских женщин. Как известно, поэма «Русские женщины» (1871-1872), посвященная женам декабристов, стала самым популярным произведением «Отечественных записок» в 1870-е годы (Степанов, 119)⁹, а некрасовские строки «Есть женщины в русских селеньях...» стали частью популярной культуры в России.

Опровержение конкретных феминистских интерпретаций русской литературы не является целью данной работы, поскольку ставит литературоведа в положение вечно догоняющего. Важнее понять, на каком основании феминистки используют литературные произведения как документ, доказывающий угнетенное положение женщин в русском обществе, почему феминистские трактовки так похожи друг на друга и обходят стороной вопросы специфики изображения женских характеров в разных произведениях, каким образом конструируется объект феминистского анализа литературы, и в какой мере он соответствует произведениям, из которых этот объект вычлениют. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, охарактеризую кратко теоретические посылки феминистской литературной критики, примеры которой приведены выше.

Два источника радикального феминистского литературоведения

Барбара Хельдт, Джо Эндрю, Нина Пеликан Страус и Розалинд Марш следуют методологии феминистского движения конца 1960-1970-х годов. В тот период феминизм, из-за недостатка исторических документов, связанных с жизнью

женщины в прошлом, использовал литературу как «эмпирический» материал для реконструирования «общественной реальности». Примером такого анализа является книга Кейт Миллет¹⁰ «Сексуальная политика» (1970), представляющая писателей-мужчин как самовлюбленных, сентиментальных реакционеров, склонных к нарциссизму и воплощающих буржуазную мораль. Многие литературоведческие работы, написанные с позиций феминизма, являются продолжением именно этой традиции американского политически активного феминизма.

Пафос радикального направления феминистских исследований обусловлен взаимодействием двух основных источников – марксизма и психоанализа. Феминизм политизирует базовые концепции психоанализа с помощью марксистской теории классово-борьбы. Техника жесткой оценки, которая приводит к осуждению большого количества литературных произведений, – это наследие, полученное феминизмом от марксизма¹¹. Политическая программа феминизма, предусматривающая коллективное и прежде всего *женское* счастье в справедливом обществе, где царствует экономическое, политическое и социальное равенство, сродни политической программе марксизма, также пропагандирующего политическое и социальное равенство, но среди представителей разных классов, а не полов. Как пишет Ричард В. Коннелл, «историческая ассоциация социализма и феминизма ... выражает основную правду о глобальной структуре неравенства и о том, какие общественные силы являются в этой структуре господствующими» (Connell, 292)¹². И в марксизме, и в феминизме идея неравенства порождает взгляд на литературу как на область борьбы за гегемонию, за перераспределение культурных и политических символов. Опираясь на марксистское истолкование власти как предмета и цели борьбы, радикальный феминизм также заимствует посылку о дихотомии угнетателей и угнетенных, которая используется в качестве оправдания борьбы за власть. Мужчины, соответственно, рассматриваются в качестве носителей власти, в то время как женщины представляются как жертвы этой власти, как угнетенный класс.

На Западе родство феминизма и революции и гомологичность феминистского и марксистского подхода к литературе обнажается, когда феминизм пропагандируют как «революционное» движение. Например, известный британский литературовед-марксист Терри Иглтон отмечает, что одним из примеров «революционной литературной критики» является феминистская критика. Иглтон характеризует революционное литературоведение следующим образом:

«Революционная литературная критика разрушит господствующие концепции «литературы», введя «литературные» тексты в обширную область культурной практики. Она будет стремиться соотнести такую «культурную» практику с другими формами общественной деятельности, изменить сам аппарат культуры. Она (критика) должна артикулировать свой «культурный» анализ с учетом последовательной политической практики. Она ... должна интерпретировать язык и «бессознательное» литературных

произведений для того, чтобы выявить их роль в идеологическом конструировании субъекта; а также мобилизовать такие произведения ... для борьбы за изменение этих субъектов в рамках более широкого политического контекста» (Eagleton, 98).

Нельзя не отметить сходство этой трактовки с позицией, сформулированной В.И. Лениным в программной работе 1905 года «Партийная организация и партийная литература». Невозможно рекламировать феминизм с помощью такой же риторики в современной России, где само слово «революция», а также явление, обозначаемое этим словом и сулимое им благо, скомпрометировали себя. Именно поэтому отечественные работы в области гендерных исследований не заостряют внимание на связи феминизма и марксизма, предпочитая в качестве теоретических основ реинтерпретацию классического психоанализа французскими феминистками, а также теорию постструктурализма и деконструкции¹³. При этом непроясненной остается этиология риторических «следов» более радикального феминизма в современных отечественных работах, использование некоторых базовых терминов феминистских исследований явно не в постмодернистском толковании. Возвращаясь к тезису Иглтона о революционном изменении субъекта с помощью критики, уместно спросить: каковы характеристики субъекта, конструируемого в рамках феминизма, и какие именно изменения субъекта предполагают феминистские программы?

Центральным понятием, вокруг которого разворачиваются политические действия и интерпретации феминисток, является понятие сексуальности или половой принадлежности. Катарина МакКиннон отмечает, к примеру: «Так же как труд для марксизма, половая принадлежность для феминизма является общественно обусловленной и одновременно обуславливающей характеристикой, универсальным по своей природе, но исторически специфическим, состоящим из материи и сознания» (MacKinnon, 516). Так же как марксистская литературная критика подвергает овеществлению понятие класса, предполагая, что существует некая жесткая классовая идентичность, «революционный» феминизм овеществляет понятия пола и сексуальности, превращая их в классифицирующие характеристики и полагая, что существует некая организованная структура господства и эксплуатации женщин мужчинами. Подразумевая существование коллективной идентичности мужчин, феминизм более радикального толка требует создания коллективной идентичности для женщин, которые, подобно рабочим в марксизме, должны организовать в группу для преодоления мужского гнета.

Опираясь на марксизм и психоанализ, радикальный феминизм в своем подходе к литературе попадает в плен того, что Элис Джаггер и Сюзан Бордо назвали «дуалистической онтологией» (Jagger, Bordo, 3). Лежащие в основе литературного анализа дихотомические структуры приводят к использованию литературы в качестве иллюстрации неравенства между мужчинами и женщи-

нами. Приведённый выше обзор критических работ Хельдт, Эндрю, Страус и Марш, показывает, что феминистские критики обвиняют русских писателей в свойствах описываемой ими социальной действительности, забывая о том, что писатель, в конце концов создает художественное произведение, а не то, что изображается в этом произведении (ср. Adorno, 6).

Ключевые термины марксизма и психоанализа, широко используемые в феминистской теории – «угнетение», «власть», «господство», «подавление», «сексуальность», «желание», а также термины «патриархальная культура», «женоненавистничество» образуют «предельный лексикон» (*final vocabulary*) феминисток. «Предельным лексиконом» американский философ прагматист Ричард Рорти называет те концепции, которые не подвергаются сомнению со стороны использующего их субъекта – они считаются естественными, само собой разумеющимися и верными (Rorty, 73). Предельный лексикон феминизма монополизирует феминистский анализ литературы, диктуя его результаты и мешая субъекту исследования дистанцироваться от своего концептуального аппарата, посмотреть на него с иронией и сделать его более адекватным для анализа изучаемого материала.

Кич: любовь или сексуальность?

Политизирование сексуальности и пола в феминистском литературоведении приводит к прочтению русского классического романа только как любовного романа, в котором мужчины и женщины озабочены главным образом удовлетворением своих сексуальных запросов, а отношения между полами представляют собой сражение за власть. Преподнесение сексуальности в качестве центрального аспекта женской идентичности становится стратегией конструирования объекта исследований во многих феминистских работах. По словам Барбары Хельдт, например, «сексуальная идентичность и социальная идентичность являются синонимами самой идентичности» (Heldt, 6). Джо Эндрю полагает, что сексуальность является «краеугольным аспектом жизни женщины» (Andrew, 1993: 5). Нина Пеликан Страус отмечает, что сейчас происходит переосмысление тезиса о том, что интерес к «сексуальности – явление не русское, а западное» (Straus, 5). Даже заглавия современных работ по русской литературе – «Сексуальность и тело в русской культуре» Джейн Костлов¹⁴ и др., а также «Ключ к счастью: секс и поиски модернизации в России на рубеже веков» Лауры Энгельстайн¹⁵ – устанавливают непосредственную связь между сексуальной/половой принадлежностью человека и счастьем.

Связывание концепции счастья и сексуальности – явление двадцатого столетия и его наложение на культуру девятнадцатого века больше говорит о современных ценностях, нежели о социально-культурных особенностях прошлого. Понятия естественных наук и психоанализа – «женское», «мужское»,

«подавление сексуальности», «желание», «сексуальный маньяк» и т.д. – используемые в феминистском литературоведении, создают разительный контраст с лексиконом самих героинь литературных произведений 19-го века, гораздо больше озабоченных вопросами эстетических и этических идеалов романтической любви, свободы и общественного прогресса, нежели вопросами сексуального удовлетворения и раскрепощения. Само понятие романтической любви остается не востребованным в феминистских исследованиях или, во всяком случае, преподносится как часть патриархального наследия, от которого следует избавиться.

Показательно, что дефицит любви как предмета обсуждения в современном западном человековедении время от времени отмечается самими феминистками. Так, известный специалист по семиотике, также занимающаяся феминистской критикой, Кайа Сильверман, открывает книгу «Порог видимого мира» (1996) следующим рассуждением. На одном из семинаров Сильверман спросили, «Существует ли психоаналитическая теория любви?» В ответ она пишет, что любовь, действительно, упускается из виду психоанализом и другими современными областями человековедения:

«Сексуальность, желание и агрессивность в последнее время широко обсуждаются, как в самом психоанализе, так и во многих дискуссиях, использующих психоаналитическую теорию. Но любовь не вызывает большого интереса ни в том, ни в другом контексте. Ей всегда недоставало респектабельности, для того, чтобы стать объектом изучения, она всегда представлялась квинтэссенцией кича» (Silverman, 1).

Понятно, что одним из направлений, широко опирающихся на психоаналитическую теорию, является феминизм, которому свойственна элиминация, опoшление любви как *agape* и замещение ее эросом/сексуальностью. Происходит ли это потому, что любовь представляется чем-то чересчур банальным и даже пошлым, или же потому, что любовь, как понятие и явление, не годится для последовательной аргументации политических интересов феминисток, поскольку любовь предполагает глубоко индивидуализированные отношения между представителями (как правило) противоположных полов, а не коллективную озабоченность одного пола?

Момент сравнения романтической любви с кичем и акцентирование сексуальности (особенно в ее связи с концепцией счастья) необыкновенно важны в русском контексте, поскольку речь идет об инверсировании ценностей, считавшихся традиционными в русской классической литературе. Как известно, понятие «пошлость» (включающее в себя понятие «кич») стало краеугольной концепцией социальной критики в произведениях русских писателей 19-го века. Не является ли факт исключения кича из поля анализа важным в русском контексте? Не являются ли акценты, расставляемые феминистскими исследовани-

ями на Западе, неадекватными при изучении русской литературы? Сформулирую чуть иначе: то, что считалось пошлым в русской литературе, становится важным для новой феминистской концепции женщины как субъекта сексуальности, и, наоборот, романтические идеалы (включая любовь), которые были важны для женской самореализации в литературе 19-го века, объявляются нравственной безвкусицей в настоящий момент.

С точки зрения феминизма, героини русского романа, предпочитающие покорность существующему порядку (покорность, понятую в рамках феминизма), не соответствуют идеалу современной освобожденной женщины, не выполняют программу осознания своего угнетенного положения, обусловленного их половой принадлежностью, и программу протеста против жестко закрепленной сексуальности. Попросту говоря, несознательные субъекты сексуальности 19-го века не понимают своего счастья¹⁶. Однако, если задаться вопросом, совпадают ли понимание счастья и пошлости героинями 19-го века с представлениями о счастье, усвоенными западными феминистками, то покорность и жертвенность русских героинь вовсе не свидетельствует о том, что они не осознавали своего положения в обществе в качестве объектов сексуального желания. Скорее, это говорит о том, что осознание себя как объектов сексуального желания не являлось определяющим в жизни (самореализации) этих героинь. Можно сказать, что женские персонажи русского классического романа становятся героинями литературных произведений с момента осознания своей половой роли, а также предопределяемой этой ролью «судьбой». Это осознание, однако, – только начало развития русского женского характера, а не его кульминация. Пушкинская Татьяна, например, осознает, что именно Онегин решает, будет ли между ними роман, а ее собственная инициатива оказывается неуместной и отвергается. Именно это в какой-то мере провоцирует реакцию Татьяны на домогательства Онегина в конце романа. Настасья Филипповна («Идиот»), долгое время вынужденная жить как объект сексуального наслаждения, становится героиней романа, когда активно вступает в борьбу против своего унижительного (пошлого) положения, сохраняя при этом удивительную нравственную чистоту.

Следующее сравнение, на мой взгляд, показывает второстепенность проблематики сексуальности для героинь русских романов. Одной из наиболее ярких сцен осознания того, что есть женская судьба, определяемая женской сексуальностью, является монолог Долли Облонской в романе Толстого «Анна Каренина». Долли внезапно понимает, что она лишь средство воспроизводства. Она ужасается своей судьбе, «всем этим пятнадцати годам замужества», отмеченными «беременностью, тошнотой, тупостью ума, равнодушием ко всему» (Толстой, 181), воспитанием, учением и смертью детей:

«И все это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая, противная мужу, проживу свою

жизнь, и вырастут несчастные, дурно воспитанные и нищие дети. И теперь, если б не лето у Левиных, я не знаю, как бы мы прожили... Ну, да если предположим самое счастливое: дети не будут больше умирать и я кое-как воспитаю их. В самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот все, что я могу желать. Из-за всего этого сколько мучений, трудов... Загублена вся жизнь!» (Толстой, 181-182).

Долли чувствует себя глубоко несчастной из-за того, что жизнь ее не стала ничем более того полоролевого минимума, которого требовало от нее общество, и который не обеспечил ее исполненности даже как матери. Уяснив свое положение, она, однако, ничего не предпринимает, и именно поэтому не она становится центральной героиней романа.

Можно сказать, что героини русских романов не относятся к предписанной обществом сексуальности/половой роли как к стигме. Их ответ на то положение, в которое их ставит общество, провоцируется осознанием их сексуальности, но не ограничивается протестом против установленного порядка согласно феминистской программе. Послушное, не осененное внутренней значимостью, следование половой роли, навязываемой обществом, воспринимается как пошлость, как нечто стесняющее свободу личности, но свобода личности не сводится к сексуальной свободе. Героини русской литературы не просто стремятся стать субъектами сексуальности – они стремятся к тому, чтобы отношение к ним не определялось рамками сексуальности, разрушают эти рамки, действуя вопреки сложившимся в обществе стереотипам, но в соответствии с лично значимыми нравственными принципами.

«Новая женщина» по-русски

Примером того, что женская сексуальность является лишь началом развития женского характера в литературной классике 19-го века служит критическая трактовка образа «новой женщины» русскими романистами. Не секрет, что образ «новой женщины», пришедший в Россию из европейской литературы и, в частности, через работы французской писательницы Жорж Санд, получил нелестные интерпретации в русской литературе (достаточно вспомнить описание Евдоксии Кукшиной в романе Тургенева «Отцы и дети»). В письме к А.В. Дружинину от 30 декабря 1856 года Тургенев отмечает, что весь дух французского общества «безнравственный», «мелкий», «пустой», «прозаичный». В то же время, Тургенев считает Россию страной, «где еще жизнь молода и богата надеждами» (Тургенев, 1961: 68).

Является ли критика эмансипированной женщины русскими писателями знаком консервативности и даже реакционности? Чтобы хотя бы отчасти ответить на этот вопрос, следует понять отношение русских писателей (культуры) к

сексуальной эмансипации женщин, известной также как идея свободной любви, поскольку именно этот аспект был центральным в спорах, разгоревшихся в России в середине прошлого века.

Значение свободной любви в эмансипации женщин непосредственно связано с феминистской трактовкой власти, недостаток которой у женщин объясняется их половой идентичностью. Наделение властью «слабого» пола происходит в том числе и за счет превращения женской сексуальности в орудие борьбы. Власть, таким образом, манифестируется изменением сексуального поведения, одним из видов которого является «свободная любовь». Как отмечает американский специалист по русской культурной истории Ричард Стайтс: «Для Жорж Санд свободное выражение чувства – духовное и физическое влечение, которое мы неуклюже пытаемся определить как любовь – было настоящей необходимостью. Секс являлся просто нормальной и необходимой кульминацией этого чувства, до, после или вне брака» (Stites, 19). В феминистской критике появление образа «новой женщины» и идеи свободной любви в русской литературе связывается с популярностью работ Санд в России. Ольга Демидова пишет о том, что женские персонажи, сражающиеся за свое счастье, являются «поправкой образов жорж-сандовского типа, созданной русскими писателями-мужчинами» (Demidova, 100). Нина Пеликан Страус утверждает, что героини Жорж Санд послужили источником таких образов Достоевского, как Дуня Раскольников в «Преступлении и наказании», Полина в «Игроке», Аглая и Настасья Филипповна в «Идиоте», Лиза Тушина в «Бесах» и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых» (Straus, 7).

Не оспаривая того факта, что в 1840-е годы многие русские писатели последовали примеру Жорж Санд, сделав изображение женской судьбы центральным мотивом своих произведений, хочу, тем не менее, отметить, что невозможно и неверно видеть в каждой русской героине слепок персонажей Санд, поскольку западные идеалы не ложились на русское сознание точно на чистый лист бумаги. В частности, счастье, понятое как сексуальное освобождение, представляется мотивом нерелевантным для прочтения Санд Достоевским. Ричард Стайтс отмечает, что Достоевского более всего «поразили те работы, в которых женственность изображалась в красках «возвышенной нравственной чистоты», следования долгу, чувством гордости за целомудрие, ненависти к компромиссу, жажде самопожертвования – именно в таких красках, которые восхищали интеллигенцию в русских женщинах» (Stites, 19). Говоря иначе, Достоевский видел такие качества в героинях Жорж Санд, которые выходили далеко за рамки женской половой роли, определяемой обществом. Так, например, Аглая, одна из двух центральных женских персонажей романа «Идиот», представляет собой «новую женщину». Она умна, высоконравственна и независима. Аглая читает запрещенную литературу, стремится работать на благо общества и желает соединиться с человеком, который отвергает навязываемые обществом услов-

ности. В смысле изменений, произведенных Достоевским в образе «новой женщины», показательны обстоятельства бунта Аглаи против своей «женской доли». Мужчина, с которым она решила сбежать из дома, для того чтобы предотвратить брак, который ей могут навязать родители, – князь Мышкин, чья сексуальность (эрос) просто-напросто уничтожена Достоевским. В контексте романа сексуальная идентичность Аглаи не так важна, как ее социальная идентичность. Аглая хочет бежать из дома с Мышкиным совсем по иным причинам, нежели те, что двигали, например, мадам Бовари или Ириной, героиней романа «Дым» Тургенева.

Может показаться, что, уменьшив эротическую наполненность романа, Достоевский действовал как типичный женоненавистник. Однако, как показывает анализ творчества русских писательниц, дело скорее в разнице культурных ценностей, а не в женоненавистничестве. Примером переосмысления идей Жорж Санд является творчество Елены Ган, популярной писательницы 1840-х годов, которую сравнивали с Жорж Санд. Ричард Стайтс, тем не менее, отмечает целый ряд существенных различий в творчестве Ган и Санд:

«Сравнение Ган и Жорж Санд – поверхностное, поскольку большинство героинь Ган однолюбки. Ган отвергала идею – сен-симонскую, как она ее называла – о равенстве полов. Женщина выполняет свою собственную функцию как жена, мать, воспитательница детей, «сильных и крепких духом сыновей», и дочерей, которые должны в будущем стать женами и матерями. Для Ган измена или равенство полов не являлись решением проблемы пошлости женского существования. Она, однако, понимала, что проблема эта существует, и она подходила к ее изображению честно, делая большинство своих однолюбок несчастными женами (если они сохраняли верность своим мужьям). Избрав такой метод изображения, она прикоснулась к горькой правде, которая заключается в том, что самой по себе любви недостаточно, чтобы сделать жизнь осмысленной» (Stites, 24).

Таким образом, проблема, которую решали героини Ган состояла в борьбе против пошлости бытия, а не в достижении равенства с мужчинами и удовлетворении своих сексуальных желаний. Свободная любовь – не самый популярный среди русских писателей 19-го века метод решения женского вопроса. В более реалистичном и более сложном, нежели жорж-сандовский, социо-культурном и этическом контексте русского романа личностная реакция женских персонажей – неизмеримо больше сексуальной свободы, образования и даже личной независимости. В контексте русской литературы любовь и счастье несводимы к свободе удовлетворять свои сексуальные потребности.

Напротив, в русской классике 19-го века, именно свободная любовь, радикальный протест женщин против их сексуального объективирования – вос-

принимается как пошлость. Так, свободная любовь изображается как пошлость (кич) в романе «Дым» (1868). На примере Ирины, героини романа «Дым», Тургенев показывает невозможность достичь счастья, удовлетворив свои сексуальные желания и социальные амбиции. Потребительский «прогресс» в жизни создает лишь иллюзию счастья, осмысленного существования и самореализации. Комфорт, который обеспечивается высоким общественным положением, не в силах заменить Ирине счастье романтической любви. Ирина предает свою любовь к Григорию Литвинову дважды, предпочитая жизнь богатой кокетки из «высшего общества» семейному счастью «угнетенной» женщины. Когда Ирина вновь встречает Литвинова, она становится его любовницей и убеждает его бежать. Однако накануне побега она посылает Литвинову письмо с объяснениями собственной слабости:

«Я не могу бежать с тобою, я не в силах это сделать. Я чувствую, как я перед тобой виновата; /.../ я презираю себя, свое малодушие, я осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить. Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твоё счастье, что ты теперь точно вправе видеть во мне одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебе торжественные обещания /.../ Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут /.../ Только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками ...» (Тургенев, 1965: 306-307).

Предлагая Литвинову жить подле нее, любить ее, какова она есть, «со всеми ее слабостями и пороками» (Тургенев, 1965: 307), Ирина обнаруживает свою пошлость. И все же, Ирина отличается от Бетси Тверской («Анна Каренина») и Мадам Бовари, способностью осознать свое нравственное бессилие и свою пошлость. По словам Каролины Магд-Сеп, «драматический конец тургеневской героини не имеет ничего общего с поведением замужних героинь Жорж Санд, которые свободно отдавались чувству любви» (Maegd-Soep, 217).

В творчестве Тургенева этика феминизма проверяется моралью свободы, ответственности и общественного долга. Тургеневская трактовка образа «новой женщины» представлена в романе «Накануне» (1860). Елена Стахова, героиня романа, стремится к общественной самореализации. Она верит в ценность активной жизненной позиции. Елена влюбляется в Инсарова, болгарина, посвятившего свою жизнь освобождению своей родины. Когда тот умирает, она становится сестрой милосердия в армии освобождения Сербии и, таким образом, продолжает дело своего мужа. Владимир Набоков писал о Елене:

«Елена представляет собой тип героической личности, которого жаждало общество: личности, готовой пожертвовать всем ради любви и долга, бесстрашно преодолевающей любую трудность, которую судьба

ставит на ее пути, преданную идеалам свободы – эмансипации угнетенных, свободы женщине самой выбрать свой жизненный путь, свободы любви» (Nabokov, 1981: 67).

Для Елены свобода любви не состоит лишь из эротического аспекта. Для нее важно сочетание веры в романтическую любовь, гражданские идеалы и общественный долг. По замечанию Виктора Риппа, когда Елена уступает страсти Инсарова («Так возьми ж меня» прошептала она (Тургенев, 1964: 131)), «завершение не просто эротическое. ... она не только достигает сексуальной свободы после долгих лет связывающих общественных условностей, но также подходит к концу духовного поиска. Инсаров – человек, который поможет ей реализовать свое желание улучшить жизнь людей» (Ripp, 174).

Еще один пример переосмысления женского вопроса в российском контексте – Анна Каренина. Как известно, изначально этот образ задумывался как образ посредственной пошлой безнравственной женщины. Но в процессе работы в Анне не осталось ни капли пошлости и она превратилась в один из самых привлекательных и сложных женских персонажей в русской и европейской литературе. В отличие от героини «Дыма» и от Алексея Каренина, предлагающего Анне остаться в его доме и видеться с Вронским тайком, Анна не может больше жить в опостылевшем ей мире. Она следует за своей судьбой, оставляет мужа и живет с Вронским открыто, но оказывается пойманной сетью общественных уз и нравственных забот, которыми, как человек порядочный, она не может пренебречь ради исполнения собственных желаний. Владимир Набоков тонко подмечает разницу между Мадам Бовари и Анной Карениной:

«Анна – это женщина, отличающаяся богатой, хорошо организованной ... нравственностью: все в ее характере важно и удивительно, и то же можно сказать о ее любви. Она не может себя ограничивать, как это делает ... Бетси Тверская, тайным романом. Ее честная страстная природа делает притворство ... невозможным. Она – не Эмма Бовари хитрая провинциальная мечтательница, ... которая пробирается, цепляясь за рушащиеся стены, к ложу взаимозаменяемых любовников. Анна отдает Вронскому всю свою жизнь, ... хотя эта «открытая» связь клеймит ее как падшую женщину в глазах ее безнравственного окружения. (В какой-то степени можно сказать, что ей удалось осуществить мечту Эммы о побеге с Рудольфом, но Эмма не почувствовала бы угрызений совести при расставании со своим ребенком, и в сознании этой дамочки не было места для каких бы то ни было нравственных вопросов» (Nabokov, 1981: 144).

Анна, стараясь жить в соответствии со своими нравственными принципами, бросает вызов ценностям заурядного общества, в котором процветают такие женщины как Бетси Тверская и мать Вронского¹⁷. Сложности, с которы-

ми сталкивается Анна – ее отношения с Карениным, со своим сыном, со своей семьей и семьей Вронского, с обществом, которое ее отвергает, создают серьезное испытание для ее любви, испытание, которое нельзя разрешить общественным прогрессом в том варианте, в котором его понимают феминистки.

Заключение

Помещая своих героинь в сеть отношений, среди которых сексуальные отношения занимают важное, но не главное место, русские писатели показали, как пол взаимодействует с другими социальными категориями – чувством долга, нравственностью, желаниями и общественным положением, категориями, которые во многом остаются за пределами проблематики радикального феминистского литературоведения. Так, радикальная феминистская теория не в силах объяснить, почему Татьяна из «Евгения Онегина» отказывается от романа с человеком, которого она любит. Не в силах она объяснить и то, почему Анна Сергеевна Одинцова из романа «Отцы и дети» не заинтересована в том, чтобы заставить Базарова встать перед ней на колени, и почему сестра Одинцовой, Катя, говорит, что она готова покориться мужу, но ей тяжело переносить неравенство:

«– Вы, может быть, хотите властвовать или ...»

– О нет! К чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование ... Нет, довольно и так.» (Тургенев, 1964: 367).

Теория мужского господства и жесткой половой идентичности не может ответить на вопрос, почему Бетси Тверская и Ирина по сути являются проститутками, в то время как Соня Мармеладова, ставшая блудницей поневоле, остается незапятнанной женщиной, способной предоставить моральную поддержку другим. Можно сказать, что общественное положение персонажа в русском романе 19-го века, каким бы унижительным оно ни было, не предопределяет его нравственное развитие.

Наблюдается несоответствие феминистской трактовки половой роли, власти, господства и подчинения анализируемому материалу: категории сексуального подчинения и господства являются менее значимыми для интерпретации русской литературной классики 19-го века, нежели категории силы и слабости, личностной цельности, органичности или поверхностности и пошлости. Более детального изучения требует комбинация подчиненного социального положения женщин в российском обществе с необыкновенной силой женского характера. Не имея влияния на принятие политических решений, не имея доступа к университетскому образованию в самой России, русские женщины, и в жизни, и на страницах романов, создали резкий контраст образу «лишнего» человека (мужчины), поверхностного и пошлого¹⁸.

Возвращаясь к тезису о том, что сексуальность сама по себе, столь важная для феминистской концепции пола, не является осью женского характера в русской классической литературе, и что концепции пошлости и счастья чрезвычайно отличаются в русской литературе и в философии радикального феминизма, хочу процитировать здесь набоковскую трактовку пошлости:

«Откройте любой попавшийся под руку журнал. Наверняка вы там обнаружите нечто подобное: радиоприемник (... любой другой предмет) только прибыл в дом: мать семейства в туманном экстазе всплескивает руками, дети уставившись на новое приобретение, обступают его со всех сторон, малыши и собака тянуться к краю стола, на котором восседает идол; даже бабушка с лучающимися морщинами всматривается в происходящее откуда-то из глубины комнаты» ...; а чуть поодаль, гордо упершись большими пальцами в проймы своей жилетки, расставив ноги и подмигивая, стоит триумфующий папочка, Гордый Кормилец.

Богатейшая пошлость, пропитывающая рекламу подобного рода, состоит не в преувеличение значимости того или иного предмета быта, но в том, что эта реклама подразумевает, будто венец человеческого счастья можно купить и что его покупка каким-то образом облагораживает покупателя. ... Забавно не то, что это мир, в котором не остается ничего духовного, кроме экстатических улыбок людей, предлагающих и потребляющих божественные кукурузные хлопья или мир, в котором игра чувств ведется по правилам буржуазной морали ... но в том, что это является своеобразным миром-тенью, спутником, в реальное существование которого ни продавцы, ни покупатели в глубине души не верят» (Nabokov, 1961: 67).

Этот отрывок указывает на эмоциональную редукцию в философии общества потребления, которое представляет приобретение чего-либо как счастье, а потребление как прогресс на пути к самосовершенствованию. Эпистемология такого рода счастья, предполагает, что можно научиться определенной технике счастья, что в мире (эмоций) нет ничего невозможного, чего нельзя было бы купить или завоевать.

Похожая потребительская логика, с присущей ей эмоциональной редукцией, присуща и философии феминизма. Феминизм подразумевает, что венец женского счастья заключается в равенстве полов, которое достижимо при выполнении ряда условий, реартикулирующих значение пола. Существует определенное сходство между феминизмом и философией потребления, поскольку обе системы направлены на то, чтобы заставить людей поверить в достижимость ряда абстрактных качеств. Стратегия их достижения становится прогрессом, который, для того, чтобы быть ощутимым, вводится в коллективное сознание как процесс приобретения вещей, услуг или прав.

В силу своей прагматической ориентированности на власть, радикальный феминистский дискурс исключает сообщение о том, что женщинам не гарантируется ни счастье, ни личностная реализация даже по достижении равенства с мужчинами. Для того, чтобы оправдать замалчивание романтической любви, личностной реализации, чувства долга и других «проблемных» понятий, которые могут пошатнуть женскую убежденность в прогрессивности феминизма, эти понятия редуцируются до уровня пошлости, обсуждать которую не имеет смысла. Напротив, именно романтические идеалы были значимыми в становлении женщины как личности в литературе (культуре) 19-го века. Используя литературу 19-го века в качестве сцены для разыгрывания сугубо политических спектаклей, радикальный феминизм во разрушает ее ауру и присущие ей ценности. Применяя феминистский подход к изучению литературы, необходимо помнить о теоретических основах его политических аспектов, о его возможных издержках.

Абубикирова Н., Регентова М. «Проблемы распространения идей феминизма. Анализ опыта работы с группами женщин», *Феминистская практика: Восток – Запад. Материалы международной научно-практической конференции*, под ред. Ю. Жуковой (С.-Петербург, 1996), с. 90-97.

Кириллина А.В. *Гендер: лингвистические аспекты* (М.: Институт социологии РАН, 1999).

Сараскина Л. *Возлюбленная Достоевского, Аполлинария Сулова: биография в документах, письмах, материалах* (М.: Согласие, 1994).

Степанов Н. «Русские женщины» Н.А.Некрасова», Некрасов Н.А. *Русские женщины* (М., Л.: Детгиз, 1950), с. 97-123.

Толстой Л.Н. *Анна Каренина. Полное собрание сочинений. Серия первая. Произведения*, т. 19, части 5-8 (М: Художественная литература, 1935).

Тургенев И.С. *Дым. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Сочинения*, т. 9 (М., Л.: Наука, 1965), с.141-329.

Тургенев И.С. *Накануне. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Сочинения*, т. 8 (М., Л.: Наука, 1964), с. 5-169.

Тургенев И.С. *Отцы и дети. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Сочинения*, т. 8 (М., Л.: Наука, 1964), с. 193-446.

Тургенев И.С. *Письмо А.В.Дружинину. 30 октября 1956 г. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Письма в 13 томах*, т. 3 (М., Л.: Наука, 1961), с. 28-30.

Чуковский К. *Мастерство Некрасова* (М.: Художественная литература, 1962).

Шорэ, Элизабет, Каролин Хайдер. «Вступительные замечания о совместном русско-немецком научном проекте», *Пол, гендер, культура*, под ред. Элизабет Шорэ, Каролин Хайдер (М.: РГГУ, 1999), с. 9-23.

T.W. Adorno, *Aesthetic Theory* (London and New York: Routledge and Kegan Paul, 1984).

J. Andrew, *Narrative and Desire in Russian Literature, 1822-1849* (New York: St Martin's Press, 1993).

J. Andrew, *Women in Russian Literature, 1780-1863* (New York: St. Martin Press, 1988).

J. Butler, «For a Careful Reading», in Benhabib, Seyla and Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser, *Feminist Contentions. A Philosophical Exchange* (New York: Routledge, 1995) p. 127-145.

R.W. Connell, *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Cambridge (UK: Polity Press, 1987).

O. Demidova, «Russian Women writers in the nineteenth Century», in *Gender and Russian Literature* in Rosalind Marsh, ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 92-112.

T. Eagleton, *Walter Benjamin: Or Towards a Revolutionary Criticism*. (London: Verso, 1981).

A. Etkind, *Eros of the Impossible: The History of Psychoanalysis in Russia*. Trans. Noah and Maria Rubins (Boulder, Colo.: Westview Press, 1997).

N. Furman, «The Politics of Language: Beyond the Gender Principle», in Greene, Gayle, Coppelia Kahn. *Making a Difference: Feminist Literary Criticism* (London and NY: Methuen, 1985), p. 59-80.

G. Greene, C. Kahn, *Making a Difference: Feminist Literary Criticism* (London and NY: Methuen, 1985).

B. Heldt, *Terrible Perfection: Women and Russian Literature* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987).

A. Jaggar and S. Bordo, «Introduction», in *Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing* in A. Jaggar and S. Bordo, eds. (New Brunswick and London: Rutgers University Press, 1989), p. 1-13.

S.J. Kaplan, «Varieties of Feminist Criticism», in G. Greene, C. Kahn. *Making a Difference: Feminist Literary Criticism* (London and NY: Methuen, 1985), p. 37-58.

C.A. MacKinnon, «Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory», in *Signs*, 7 (3). Spring 1982, p. 515-544.

de Maegd-Soep, *The Emancipation of Women in Russian Literature and Society: A contribution to the knowledge of the Russian Society during the 1860s* (Ghent: Ghent State University, 1978).

R. Marsh, «Introduction», in *Gender and Russian Literature*, in R. Marsh, ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 1-37.

V. Nabokov, *Lectures on Russian Literature*, in Fredson Bowers ed. (New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1981).

V. Nabokov, *Nikolai Gogol* (New York: New Directions, 1961).

V. Ripp, *Turgenev's Russia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1980).

R. Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity* (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1989).

E. Showalter, «Feminist Criticism in the Wilderness», in *Writing and Sexual Difference* in E. Abel, ed. (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1982).

E. Showalter, *A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977).

K. Silverman, *The Threshold of the Visible World* (New York and London: Routledge, 1996).

R. Stites, *The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978).

N.P. Straus, *Dostoevsky and the Woman Question: Readings in the End of a Century* (New York: St Martin Press, 1994).

Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism, in R.R. Warhol and D. P. Herndl, eds. (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991).

¹ Maegd-Soep, Carolina de. *The Emancipation of Women in Russian Literature and Society: A contribution to the knowledge of the Russian Society during the 1860s* (Ghent: Ghent State University, 1978), p. 22.

² Например, Н. Абубикирова и М. Регентова обращают внимание на проблему механического переноса западных подходов в российское литературоведение.

³ Россия, как известно, имеет собственную историю феминистского движения. Истоки русского феминизма следует искать в движении за эмансипацию женщин, развернувшимся в середине 19-го века. Второй этап решения «женского вопроса» наступил в первые десятилетия 20-го века, когда деятели эпохи ВОСР – Александра Коллонтай, Инесса Арманд и Надежда Крупская, – занимались не только теоретической, но и практической разработкой проблем, связанных с ролью женщин в коммунистическом обществе. Однако, в силу непопулярности всего, что связано с коммунистическим прошлым России, российский феминизм сегодня опирается не столько на отечественный опыт борьбы за равноправие женщин, сколько на западноевропейские и североамериканские источники и воспринимается как явление импортируемое. Именно в этом смысле распространение феминистской теории и практики в современном постсоветском пространстве можно назвать запоздалым.

⁴ См. по этому вопросу сборник *Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism*, in Warhol, Robyn R. and Diane Price Herndl, eds. (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991).

⁵ Патриархальная структура как точка приложения феминистской критики, на мой взгляд, – сооружение весьма шаткое. Во-первых, патриархальные структуры отличаются в разных странах; во-вторых, неясно, когда патриархальные структуры возникли, какова их динамика, когда они исчезнут.

⁶ В данной работе я не могу вдаваться в подробности политического позиционирования современных теоретиков феминизма. Отмечу лишь, что было бы точнее говорить о более этичной, ответственной и тонкой политической позиции Батлер, а не о ее аполитичности, в которой ее обвиняют радикальные феминистки. Позиция Батлер – более сложная, чем просто деполитизация феминизма. Батлер утверждает, что политизированная позиция, основанная на позитивной интерпретации гегемонии, которая, в свою очередь, основана на вере в то, что различия – это знаки несправедливости, «не в состоянии объяснить различия» (Butler, 141).

⁷ Ежегодно в США и Канаде присуждается премия Хельдт за лучшую книгу о женщинах в области славистики.

⁸ Огромную роль в развитии женского движения сыграли М. Михайлов и Н.И. Пирогов.

⁹ Последовав за своими мужьями в Сибирь, жены декабристов показали свою независимость и гражданскую зрелость. Их семьи, друзья, и, наконец, царская система пытались предотвратить их отъезд, кроме прочих лишений, предусматривавший и отказ от права передачи дворянского титула детям, которые могли родиться у них в Сибири. Во многом благодаря поэмам Некрасова, княгиня Волконская и княгиня Трубецкая

стали легендарными фигурами в России, символом мужества и свободолюбия. Подробнее об этом см. в работе Корнея Чуковского (Чуковский, 242-259).

¹⁰ Millett, Kate. *Sexual politics* (Garden City, N.Y., Doubleday, 1970).

¹¹ Отношения марксизма и феминизма рассматриваются во многих работах. Одной из них является книга американского теоретика феминизма Нэнси Хартсок. Hartsock, Nancy. *Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Historical Materialism* (New York: Longman, 1983). Изучение генетической связи марксистской методологии с феминистской философией в перспективе российского опыта могло бы пролить свет на ограниченность феминистической теории и практики. Особенно в контексте России, усвоение феминистской теории должно сопровождаться изучением ее связи с марксизмом, который, ставя своей целью построение справедливого общества, привел к созданию тоталитарного режима в России.

¹² Катарина МакКиннон в статье «Феминизм, Марксизм, Метод и государство» пишет: «Марксизм и феминизм являются теориями власти и ее распределения, то есть неравенства. Они объясняют, как социальное устройство, основанное на ... неравенстве, может быть внутренне рациональным, но в то же время несправедливым» (516).

¹³ Например, в монографии «Гендер: лингвистические аспекты» А.В. Кириллина, делая обзор существующих трактовок пола, наиболее подробно ссылается на разработку концепции в рамках постмодернистской философии, но практически не упоминает марксизм в качестве серьезной теоретической базы для интерпретации половых ролей.

¹⁴ Costlow, Jane T., ed. et al. *Sexuality and the body in Russian Culture* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993).

¹⁵ Engelstein, Laura. *The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-siucle Russia* (Ithaca: Cornell University Press, 1992).

¹⁶ Одна из известных литературоведов феминистского толка Элейн Шоуальтер, анализируя женскую литературную традицию Британии, подходит и к самим писательницам, и к их героиням с меркой конца 20-го века. В результате, Шоуальтер приходит к выводу, что все эти женщины (практически все писательницы до 1960 года) не соответствуют идеалам феминизма. См. Showalter, Elaine. *A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977).

¹⁷ Эти героини напоминают героинь романов Жорж Санд гораздо больше, чем центральные персонажи романов Пушкина, Тургенева, Достоевского и Толстого.

¹⁸ Показательно, что прототипом Заратустры, западного сверхчеловека, является русская женщина, Лу Андреас-Саломе. Ницше, безнадежно влюбленный в Лу, писал, что она целеустремленная, как орел, храбрая как лев и в то же время по-детски очарова-